

Борис Верхоустинский

В школе



Борис Алексеевич Верхоустинский

В школе

Аннотация

«Актовое зало светло и просторно. Паркетный пол блестит под лучами осеннего солнца; сияют золочения рамы с портретами царственных особ и бронзовые люстры.

Деять часов утра. Серая толпа гимназистов заняла ползала и гудит, как рой проснувшихся пчел, вылетевших на поиски пахучего меда, но классные надзиратели, величественно стоящие у широких дверей, с суровым видом записывают в памятные книжки фамилии не в меру разжужжавшихся, чтобы потом сделать выговор или пожаловаться...»

Содержание

1	4
2	11
3	18
4	26
5	31

Борис Верхоустинский

В школе

1

Актное зало светло и просторно. Паркетный пол блестит под лучами осеннего солнца; сияют золочения рамы с портретами царственных особ и бронзовые люстры.

Девять часов утра. Серая толпа гимназистов заняла ползала и гудит, как рой проснувшихся пчел, вылетевших на поиски пахучего меда, но классные надзиратели, величественно стоящие у широких дверей, с суровым видом записывают в памятные книжки фамилии не в меру разжужжавшихся, чтобы потом сделать выговор или пожаловаться.

Входит священник, в синем подряснике, с серебряным крестом на груди. Он еще молод, и лицо его почти прекрасно. Львиной гривой ниспадают на плечи каштановые кудри, поступь пряма и непреклонна, брови густые, а курчавая борода словно у апостола. Да и матово-белое лицо, с нежным румянцем на щеках и с прямым носом, тоже как у апостола.

Рой жужжащих пчел замолкает.

– Читайте молитву! – приказывает отец Иоанн.

Из толпы гимназистов выходит Виктор Барский, остриженный наголо, как маленький каторжник; на колене запла-

та, голубые глаза растерянно смотрят на висящую под хорамми иконку.

Притихшая толпа ждет первого слова, чтобы перекрестить лбы.

«Преблагий Господи, ниспошли нам благодать Духа Твоего святого, дарствующаго и укрепляющаго душевныя наши силы, дабы, внимая преподаваемому нам учению, возросли мы Тебе, нашему Создателю, во славу, родителям же нашим на утешение, церкви и отечеству на пользу».

Отец Иоанн низко кланяется иконке и, круто повернувшись на каблуках, направляется к двери. Гимназисты расходятся по классам.

Актовое зало пустеет, лишь портреты царственных особ зорко переглядываются друг с другом и словно жмурятся под ласкающими лучами умирающего солнца.

В классе Виктор садится на свою парту, раскрывает книгу и спешно проглядывает урок. Сейчас греческий язык – перевод отрывка из Анабазиса Ксенофонта... Ой-ой, если грек спросит – капут, в журнале будет жирная двойка.

Все в тревожном волнении, – шелестят листками книг и тетрадей, у некоторых лица бледны, а глаза печальны, как перед тяжким испытанием.

На кафедре, у стола, стоит Аарон Готлиб, смуглый, длинноносый, с черными волосами. Он строит дурацкие рожи Виктору, шевелит губами, подражая зубрению, мотает головой, желая показать, что – нет, не выучено, и поднимает

кверху два пальца, в знак предстоящей участи. Аарон Готлиб – сосед Виктора по парте и его большой друг.

Но Виктору не до смеха. Он зубрит, заткнув пальцами уши.

Вдруг, точно по команде, все поднимаются на своих местах – является «грек». Брюхат, круглолиц и краснонос. По происхождению чех.

Грек притворяет за собой дверь, всходит, не кланяясь, на кафедру, садится, раскрывает журнал и макает перо в чернильницу. Гимназисты опускаются.

– Кого нет?

Аарон Готлиб называет фамилии семи отсутствующих и уходит к своему приятелю.

Грек, напялив на нос золотое пенсне, долго просматривает алфавитный список учеников.

– Господи! Господи! Сделай так, чтобы меня не спросил! – крестит под партою низ своего живота Виктор.

А грек наслаждается томлением ожидающих: то взглянет на задние парты, то опять уткнется носом в журнал.

И мычит:

– Э-э-э...

Когда его взгляд обращается к Виктору, тот строит тонкую, слегка легкомысленную улыбку, и смело смотрит в глаза учителю: дескать, вызовите меня, пожалуйста, вызовите, я все отлично выучил. Но грек – хитрая бестия! – не доверяет. Тогда Виктор, не спуская глаз и улыбаясь еще легкомыслен-

нее, нащупывает мизинцем правой руки сучок на скамейке парты и про себя заклиняет: «Сухо-дерево, завтра пятница! Сухо-дерево, завтра – пятница!» Иногда это помогает, но не всегда.

– Виктор Барский!

Класс облегченно вздыхает.

Виктор берет дрожащею рукою тетрадь с вокабулами и книжку с текстом.

– Не трусь! – шепчет вдогонку Аарон, – подскажут! – Но Виктор бредет, опустив голову, к кафедре и не слышит его шепота. Сердце страдальчески сжимается.

Вблизи безобразие грека особенно отчетливо. Рыжая борода почему-то посередине бела, а глаза заплыли жиром, как у свиньи.

– Ну-с, расскажытэ нам спервы о походэ дэсяти тысяч и о состава грэческого войска.

И, вот, Виктор рассказывает о десяти тысячах воинов, о том, как они ушли от персов, как была им мила далекая отчизна, как они умирали на знойных песках Малой Азии, и как народы удивлялись их мужеству.

– Дэ-с! дэ-с! – поддакивает учитель, не смотря на Виктора. – Это был вэлыкый народ. А как: «Я воспитываю»?

– Пайдеуо.

– А как: «Я буду воспитывать»?

Виктор молчаливо теребит никелированную пряжку ремня.

Дверь тихо открывается, входит Костя Долин, сутулый и бледный. За ним Фома Костромской, уже с темным пушком на верхней губе. Фома – красота и гордость своего класса, Фома – силач, побивший семиклассника, Фома – богач, сын торговца железом, и всем известно, что он пьет пиво, а по воскресеньям ходит на свидания с гимназистками. Ах, этот здоровенный Фома!

Кланяются. У обоих книги не в ранцах, а в ремешках.

Грек молча вычёркивает из журнала «abs» ы, поставленные против фамилий запоздавших, протирает пенсне носовым платком и ехидно говорит:

– Тэпэрь учэныкы всё студэнты. Ходят с опозданиями, кныжки в рэмэшкэ... Да, да, всё стали студэнтамы.

И вдруг багровеет от раздражения, заплывшие глаза горят, как у рассерженной мыши:

– Ф-Фома Костромской! Чтоб нэ было!.. Д-дубина!.. Остаться после уроков на два часа. Трэтый раз опаздываэш.

Фома поднимается – парта его в углу, у окна – и спокойно отвечает:

– Вы не смеете меня ругать дубиной, я на вас буду жаловаться директору. Опоздал я потому, что из носу пошла кровь. Вот!

Фома вытаскивает из кармана окровавленный носовой платок и трясет им в воздухе.

Класс замирает. Неслыханная дерзость! Только от Фомы и можно ожидать подобного. Некоторые начинают хихикать.

Виктор видит, как глаза грека заполняются гневом. Если бы грек мог, он, вероятно, запустил бы чернильницей в голову непокорного Фомы... Если бы мог, он растянул бы Фому на полу и собственноручно бы отодрал.

Но Виктор не обнаруживает своего восхищения Фомой. Недаром его прозвали хитроумным Одиссеем: участливо и прискорбно смотрит он в глаза учителю, тот, в пылу гнева, попадает на удочку, ставит ему четыре с минусом и отпускает. Теперь будет расправа с Фомой. Ну-ка, любезный друг, пожалуйста!

– Фома Костромской!

Фома поднимается, Фома идет, Фома подает греку тетрадь с вокабулами и ждет начала единоборства.

– Я есмь.

Фома спрягает:

– Эйми, эй, эйэи, эсмен, эста, эсан.

– Я есмь человек.

– Хо антропос эйми.

– Я есмь дурной человек.

Фома молчит.

– Я есмь дурной человек! – повелительно повторяет грек.

Фома чуть заметно кивает головой, лица школьников расплываются в сдерживаемые улыбки.

Грек багровеет до последней степени, выводя в журнале толстую единицу.

– Н-на-мэсто!

За Фомой к столу плетется угловатый Костя Долин. Грек заставляет его читать Анабазис, чутко прислушиваясь к удавлениям. Потом Костя переводит и делает грамматический разбор. Все время он страшно волнуется, на узеньком лбу выступает пот. Костя гладит ладонью коротко-остриженные волосы на голове, потирает переносицу, засовывает руки за пояс и в карманы мешкообразных брюк, переступает с ноги на ногу. Грек спрашивает его долго и подробно, но Костя всегда знает урок, – приходится отпустить с миром и поставить тройку.

После этого грек, захлопнув журнал, объясняет особенности следующего отрывка. Говорит он вяло, словно жует недодваренную кашу: наползает нестерпимая скука.

Виктор смотрит на черную доску, где красуются нестертые цифры, начертанные мелом еще вчера; смотрит за широкие окна, где над рядами крыш возвышается пожарная каланча, и шепчет, едва раскрывая губы, чтобы не заметил учитель:

– Надул я его, чёрта!

Аарон Готлиб, прикрывая рот ладонью, отвечает:

– Молодчина!

В коридоре гремит звонок, грек берет журнал под мышку и уходит.

– У-р-р-ра! – кричит Аарон, ударяет Виктора книгой по голове и, прыгая с парты на парту, убегает к Фоме, закуривающему под партой папироску.

2

Перемена продолжается пять минут.

Виктор сидит и рассеянно наблюдает за схваткой двух братьев-близнецов, по прозвищу «Горшки». «Горшки» – точная копия один другого: одинакового роста, у обоих голубые глаза, русые волосы, хриповатые голоса, а пальцы вечно запачканы чернилами. Как же различить братьев? – да очень просто: старший ленив, младший зол: старший флегматик, младший – надут; старший хороший товарищ, младший заноза и ябедник. Братья не любят друг друга и часто ссорятся.

– Так, так его! – волнуются свидетели битвы.

Младший «Горшок», получив затрещину, дико вскрикивает и, изловчившись, ударяет брата кулаком в лоб.

– Ого! Ловко дал...

– Ну-ка, тресни, тресни его по носу.

Старший «Горшок», пыхтя, как паровоз, набрасывается на брата, сбивает с ног, садится на него верхом и колошматит, приговаривая:

– Вот тебе! вот тебе! вот тебе! За папу, за маму за весь православный народ... Хочешь еще? – Вот, тебе, вот тебе, вот тебе, я-те покажу, как чужие тетради рвать.

Костя Долин, стоящий у двери на часах, бежит к драчунам, неуклюже размахивая длинными руками, и встревоженно оповещает:

– Вакула идет! Ребята, «Кузнец» идет!

Драчунов растаскивают в разные стороны, а вдоволь накурившийся Фома вылезает из-под парты и пишет мелом на черной доске, стоящей у двери:

«Добродетели украшают нас».

– Ты чего же тут доску пачкаешь? – спрашивает Фому классный надзиратель Вакула, дюжий, обросший волосами и словно закоптелый у горнила. Брови густые, сизый нос испещрен багровыми жилками. Говорит нижайшим басом – рывкает так, что стекла дрожат.

– Сколько раз, Фома, сказывал тебе: не пачкай доску попусту. Меловая пыль отравляет легкие. Останься-ка, братец, ты после уроков на час.

Фома сокрушается:

– Простите, пожалуйста, я думал, о добродетелях можно. Фома весело оскаливает зубы.

– Дураки – гудит Вакула, – экой ты, братец, лоботряс... Сотри сейчас и не балуй больше.

Вакула с любовной усмешкой оглядывает Фому, тот стирает губкой мудрое изречение.

В конце коридора заливается звонок, перемена окончена. Ученики рассаживаются по своим местам. Но Фома держит ответ перед Вакулой:

– Ты этта чего же, братец, охальничаешь? Я тебя спрашиваю, чего же ты, братец, озорничать выдумал. Мало тебе двоек, так еще кола захотел? А-а? Зачем дерзишь греку, а-а?

Неустршимый Фома опускает голову и мычит:

– Да он меня дубиною выругал.

– И поделом! – гудит Вакула, – я ж тебе сколько раз говорил, что дубина ты... Дубина и лоботряс. Экой ты, братец, в самом деле.

– То... в-в-вы! – жалобно мычит Фома.

Вакула утешительно похлопывает его ручищею по плечу.

– Зловредный ты, братец, тип. Ну, садись. Я уж с ним поговорю, может, кол-то и вычеркнет. А остаться должен ты – от него два часа, да от меня час. Три часа. Ну, садись же.

Печальный Фома бредет к своей парте, Вакула же при входе историка покидает класс, его ножищи стучат на всю гимназию, словно по коридору катятся две телеги с кирпичом.

Аарон Готлиб закрывает дверь и докладывает историку, кого нет.

Историк высок, лыс и сухопар. Тощие старческие руки, ввалившиеся щеки, морщинистый лоб, кажущийся благодаря лысине очень высоким, и тонкие, насмешливо сжатые губы.

Зовут его Порфирий Иванович.

– А скажите-ка, милостивые государики, на чем, бишь, мы с вами остановились.

Классом сразу же овладевает веселое и благодушное настроение. Все сидят непринужденно, у всех лица оживляются: что-то расскажет, как-то пошутит Порфирий Иванович.

Виктор Барский приподымается со скамьи, чтобы толково

доложить:

– Вы вчера говорили об упадке римской империи, о распущенности римских нравов, о христианстве, о варварах и о том, что Рим должен был пасть, так как пользовался трудом рабов.

– Спасибо вам, Виктор Иванович, садитесь. Теперь я бы хотел провести параллель между религиями древних народов, милостивые государики. Будьте добры, знающие урок и желающие отвечать – пусть подымутся, а прочие... хе-хе!.. пусть не беспокоятся.

Класс, как один человек, подымается.

– Аарон Иванович! Приятного аппетита-с!

Десятки голов поворачиваются в сторону покрасневшего Готлиба, десятки глаз насмешливо озирают его. Готлиб готов провалиться сквозь землю от стыда: он только что заложил за щеку кусочек булочки, взятой на завтрак из дому.

– Ха-ха-ха!

– Не подавись, Готлиб!

Историк торжественно указывает пальцем на дверь.

– Уйдите, Аарон Иванович, и покушайте на досуге. Здесь люди наукою занимаются, а маменькины-с булочки с историей ничего не имеют общего.

Готлиб краснеет еще более и с дрожью в голосе умоляет:

– Порфирий Иванович, честное слово, я не буду больше.

– Ну, хорошо-с, а только наказать вас, Аарон Иванович, надобно. Хотел вас вызвать, но вы, как назло, себя скомпро-

метировали. Теперь не могу-с, никак не могу-с! А вот Александр Иванович Бубликов сообщит нам свои исторические выводы.

Бубликов – коренастый и широкоплечий лодырь, с блаженным лицом, изрытым оспою, идет к столу, весьма довольный оказанною ему честью. Порфирий Иванович не любит затемнять журнал двойками, его урок не опасное ристалище, где можно свернуть себе шею, а приятное развлечение.

– Так вот, милостивые государи, был, значит, Египет, страна мертвецов и фараонов, была Персия, край любителей огня, а еще были сладкоречивая Эллада и железный Рим. Вы с этим согласны, Александр Иванович?

Бубликов ухмыляется:

– Согласен, Порфирий Иванович.

– Вот и чудесно. Ну-с, что вы знаете о египетском культе?

Бубликов нахмуривается, вспоминая:

– Там на пирах стояли мумии в углу комнаты, чтобы о смерти не позабывали гости, потом был обычай – когда умирал фараон, его труп выносили на площадь, и жрецы спрашивали: не имеет ли кто чего-нибудь против покойника. Если он кого-нибудь при жизни обидел, так труп сжигали... Потом... вот... пирамиды тоже...

– Очень хорошо, Александр Иванович. Если сравнить культы древнего Египта и Эллады, то культ Египта нам напомним роскошно-убранную комнату, всю в золоте, серебре и бесчисленных бриллиантах, но навсегда закрытую же-

лезными ставнями. И вот, милостивые государики, поэтому в комнате царит глубокая ночь, сокровища египетской мысли навсегда затемнены призраком Небытия-Смерти. Жалок и несовершенен человек, по мнению мемфисского жреца, – немудрено, что изображениям божественных сил придавались формы чудовищных, несуществующих гигантов птиц и зверей, но отнюдь не человеческие формы. Эллин был не таков, милостивые государики. Вы с этим согласны, Александр Иванович?

Бубликов опять ухмыляется:

– Согласен, Порфирий Иванович.

Историк стучит пером по столу:

– И очень хорошо делаете, что согласны, Александр Иванович. Кстати, милостивые государики, христианская религия в своих взглядах на человека весьма близко подходит к мрачному культу страны пирамид; не таков эллин. Высшее назначение для античного грека – жизнь, высшая красота – человеческое тело. Эллин любил цветы за их нежные краски, любил небо за его бездонность и синеву, любил солнце за то, что оно прекрасно, и любил свою красоту, в образы которой он воплотил божества.

Постепенно, сам того не замечая, Порфирий Иванович увлекается, старческие глаза загораются тихим и радостным светом, исхудалые щеки чуть розовеют, а речь плавным и увлекающим потоком струится из-за тонких насмешливых губ.

Класс цепенеет. Тихо и незримо входят в комнату таинственные тени – пахарь благословенных полей, молчаливый египтянин; ловитель звездной мудрости, персидский маг, и смелый кормчий, обожженный солнцем и ветрами финикиец, и юный грек в миртовом венке и с томнопесенной лирой.

Как жаль покидать туманы очарования! Как грубо и непрошено гремит звонок, объявляющий конец урока.

Гимназисты срываются с места, окружают Порфирия Ивановича, старательно выводящего Бубликову тройку, и провожают его по коридору до самой учительской.

Но, возвратясь в класс, Виктор Барский спрашивает Аарона;

– Ты не знаешь, что значит «атеист»?

– Нет, не знаю.

– Безбожник! – многозначительно произносит Виктор. – Порфирий Иванович – атеист, он Богу не молится.

3

Третий урок математика. Учитель высок, узкогруд, с землистым лицом и злыми черными глазами. Он очень молчалив и всегда говорит только необходимое, с каждым словом из его горла вырывается зловещий свист – математик болен какую-то неизлечимую болезнью. Он слывет за строгого, но справедливого, гимназисты его боятся больше огня и прозвали «Мощами».

Мощи садится на стул, раскрывает журнал, отмечает отсутствующих и, вынув из кармана золотые часы, кладет их на стол перед собой.

Когда он озирает класс, его взор скользит по рядам школьников, никого не замечая, ни на ком не останавливаясь, как будто для математика не существуют десятки сидящих перед ним гимназистов, как будто он в классе один, и перед ним пустое, ничем не заполненное, место. Под этим незамечающим взглядом гимназисты стушевываются, подолгу задерживают дыхание в груди и стараются тоже не замечать учителя, что им не удается.

– Фома Костромской, к доске.

Фома нехотя поднимается. Вот несчастье! Опять отвечать, и, главное, кому – Мощам. Фома, конечно, плохо знает урок, но учитель не скоро отпустит его: прежде, чем поставить двойку, Мощи задаст десятки кратких вопросов, при

этом по его лицу будет видно, что ему все равно, хорошо ли, плохо ли знает Фома, его дело – только спросить Фому, и он спрашивает.

С сонным скучающим видом стоит Фома у доски, выводя на ней мелом цифры и буквы, буквы и цифры.

Мощи изредка взглядывает на доску и лениво говорит:

– Не так.

– Дальше.

– Совсем не так.

– Ну-с, дальше.

Фома покорно стирает навранное, пишет снова и снова стирает. Ему обидно, ему скучно. Если бы он не боялся математика, он бы бросил мел на пол и ушел, опустив голову, к себе на парту. Но Фома боится математика: с ним шутки плохи, – когда он рассердится, его смугло-желтые кулаки начинают яростно стучать по столу, он дрожит и задыхается в гневе.

Изнывая, Фома пишет мелом на доске цифры и буквы, буквы и цифры. Класс, следящий за его работой, кажется ему чуждым, даже явно враждебным ему, Фоме.

Мощи вытаскивает волосок за волоском из своей скудной бороденки, рассматривает, прищурясь, на свет и для чего-то бережно прячет под заднюю крышку золотых часов. Такая у него привычка. Неизвестно, что он потом проделывает с выдранными волосками и зачем несет их домой.

– Не так.

– Дальше.

– Совсем не так.

– Ну-с, я слушаю.

С каждым вырванным волоском голос математика становится презрительнее, брезгливее. Фоме уже хочется плакать с досады, и плакать не потому, что задача, несмотря на все усилия, не решается; а потому, что обидно, очень обидно да и нестерпимо скучно ему.

Злой, угрюмый, выслушивает он: «Не знаете, садитесь!» – и просит разрешения выйти из класса: не может же он сидеть с руками, выпачканными мелом.

Учитель отпускает его. Фома, покидая класс, с шумом хлопает дверью, так что математик от неожиданности вздрагивает.

«Чёрт! Дьявол!»! – бубнит в коридоре Фома себе под нос и входит в угольную комнату, где на асфальтовом полу возвышается дюжина удобных сидений, с вырезами посередине, фаянсовыми основаниями и болтающимися позади сидений цепочками, к которым подвешены фаянсовые же ручки. Славное местечко! – оно всегда полно беглецами, скрывающимися от зоркого ока наставника; дезертирами, благоразумно выбывшими из строя, не дожидаясь той минуты, когда острие единицы уязвит в самое сердце. Здесь же любители дружеских бесед ищут пристанища, покинув суету класса. Темы, разбираемые здесь, всегда злободневны и захватывающи, и именно здесь потухает исконная вражда граждан ос-

новных классов к обывателям параллельных. Полное равенство! – плюгавенький пригостишка гордо восседает рядом с дылдой восьмиклассником, у которого уже основательная борода. Как в древности некоторые храмы, как в средние века некоторые города служили убежищами для преступников, так и уборная – отличное убежище: ни надзиратели, ни учителя сюда не заглядывают. Правда, однажды инспектор, в поисках беглецов, рискнул было заглянуть в эту комнату, но тотчас же сконфуженно захлопнул дверь, удивленно проворкотав: «Ф-фу... Ну, и однако же»!

На подоконнике, против посетителей, сидит кривой и рябой сторож в истасканном мундире. Зовут его – Циклоп, а, по произношению некоторых, – Киклоп. Циклоп курит махорочную «цигарку», сплевывает к ногам посетителей и внимательно слушает разговоры. Иногда Циклоп читает газету, широко открывая при этом беззубый рот, тогда у него вид чрезвычайно важный, как у самого директора.

...Фома засучивает рукава и принимается мыть под крапом руки. Сколько мелу! Нечего сказать, пописал-таки, а для чего? – для того, чтобы получить двойку.

«Чёрт! Дьявол!»

– Эко! – отрывается от газеты Циклоп, – американцы-то, и што еще они выдумали...

Он читает гимназистам о клубе самоубийц, где каждый член рано или поздно должен покончить с собой, повеситься, застрелиться, принять яду или до смерти угореть.

Фома завертывает кран и задумчиво вытирает вымытые руки носовым платком. В уборную входит Виктор Барский, а за ним, немного погодя, Аарон Готлиб. Лица у них замороженные, просидеть столько времени у Мощей – не шутка.

– Объясняет к следующему разу! – мимоходом отвечает Виктор Барский на вопрос Фомы, что делает математик, – и, облокотившись на подоконник смотрит в окно.

– Эко! эко! – качает головой Циклоп, – и што еще они выдумали.

– Американцы решительный народ! – категорически заявляет с кресла какой-то скуластый семиклассник.

Фома лезет в карман за портсигаром и угощает Готлиба с Барским.

Закуривают.

– А давайте, братцы, вздуем математика! – предлагает, накупившись, Фома, – чего он, он, в самом деле, над нами кочевряжится. Накласть ему по мордасам, да и шабаш!

Готлиб фыркает:

– На-кла-ал... Он тя сгребет в кучу, да так намнет, что и своих не узнаешь. Вот грека можно бы отдубасить, да не стоит. Переведут в другую гимназию, а к нам на пока Кринку назначат из параллельного, а тот и совсем скот.

– Эко! эко! – никак не может успокоиться Циклоп, – и што еще они выдумали.

Виктор дергает Фому за рукав и тихо говорит, указывая на улицу:

– Смотри, листья-то прыгают... вертятся. Я думаю, скоро выпадет снег. Скучно как...

Фома вздыхает:

– Мне-то три часа сидеть... Дьяволы!

Горько Фоме. Дома его ждет хорошая книга, он остановился на самом интересном месте: герой, юный охотник за бизонами, упал с лошади во время бегства от свирепых индейцев. Что с ним сделают безжалостные преследователи? Какие пытки постигнут злополучного юношу? Может быть, его привяжут к столбу и из высоких луков индейцы будут метить в его благородное сердце... Неужели же он будет убит? Но ведь тогда печаль его милой невесты... Ах, что там – печаль, не печаль, а безысходное горе, будет превыше человеческого страдания. Она зачухнет на веранде своей плантации...

– А у меня револьвер есть, – хвалится Аарон Готлиб, – у батьки спер, он про него забыл, а я и свистнул. Старый, в два ствола. Хочешь, принесу завтра показать? Палит ловко, я уж в телеграфный столб пулю всадил, теперь хочу в ворону попробовать.

Виктор оживает:

– В два ствола?

– В два.

– Теперь таких нету. Он что же – большой?

– Порядочный!

– А из него можно убиться? – мрачно спрашивает Фома.

Виктор хохочет:

– «Убиться»... Ха-ха-ха! Застрелиться, а не убиться. Хотя, – Виктор делается серьезным, – правильно говорить и «убиться», есть глагол «убить», к нему – частицу «ся», итого выйдет: «убиться». Ты, Фома, верно выразился.

– Отцепись к чёрту! – еще мрачнее нахмуривается Фома, – «ся»! «ся»! наплевать мне на «ся». Дам тебе тумака, чтоб не привязывался.

Кулаки Фомы сжимаются. Виктор думает – обидеться или нет, но вспоминает последнюю трепку, полученную от Фомы, и благоразумно смиряется.

– Дурак ты, Фома, из каждого револьвера можно застрелиться. Голова пустобарабанная.

Новое оскорбление! Фома начинает сердито пыхтеть, но ударить Виктора все же не решается, так как в уборной не хорошо устраивать драки – начальство будет вынуждено вмешаться в жизнь убежища, и тогда поминай, как звали, все вольности. Нет, драться здесь не годится, да к тому же и Циклоп выгонит.

Циклоп аккуратно складывает газету, прячет ее в карман и, взяв колокольчик, уходит в коридор звонить окончание урока. Делает это он с гордостью: маленький человек, а поди ж ты, сразу все двери настежь открываются, как начнет гроыхать колокольчиком.

Беглецы быстро приводят в порядок свой туалет и толпой покидают уборную. В коридоре – крик, гам, возня и беготня;

большая перемена продолжается целых полчаса.

4

Во время перемены в малом рекреационном зале дородный офицер обучает гимназистов гимнастике.

– Пятки вместе, носки врозь. Верчение головы... Начи-
най!

Выстроившиеся по росту гимназисты медленно и с глупым видом поворачивают головы справа налево и гудят:

– Ра-а-а-аз...

Когда же офицер командует: «два!» – все головы поворачиваются слева направо, по зале идет монотонный гул:

– Два-а-а-а-а...

Вдруг чинность нарушается пронзительным свистом. Кто-то изо всей мочи свистнул, как Соловей-разбойник, и замолк. Кто? – узнай. Офицер притворяется, что ничего не расслышал, и командует бег на месте:

– Начина-а-а-й! Раз-два! Раз-два!

Подпрыгивающие, бегущие, но не убегающие, гимназисты сильно смахивают на потревоженных козлов; гремят каблуки, вздымается пыль, дородный офицер – для примера – тоже подпрыгивает.

– Раз-два! Раз-два!

У Фомы лицо постное, надутое, но Виктор Барский лукаво улыбается.

– Смирно! – командует офицер. Все замирают в непо-

движных позах. Ухарский свист неожиданно опять прорезает воздух, но офицер мгновенно поворачивается в ту сторону, откуда он несется и командует:

– Виктор Барский, налево-кругом-марш, к директору...

– Это ж не я, ей же Богу! – врет Виктор, скорчив страдальческую мину, но офицер ему не верит. Сам видел, сам, собственными глазами.

Делать нечего, Виктор уходит к директору, за ним, отпустив гимназистов, спешит и дородный офицер, придерживая рукой болтающуюся шашку.

Директор, осанистый старик с бакенбардами, выслушивает жалобу офицера. Резолюция – на три часа после уроков. Вот так раз!

Однако, Виктор искусно скрывает, что ему наказание не по губам. Напротив! Ничего лучшего директор не мог придумать. Одно удовольствие – высидеть три часа в пустом классе. Одно удовольствие!

Выйдя из кабинета, он бежит, как сумасшедший, пот градом катится по его лицу. Виктор пристает к Горшкам, науськивает их друг на друга, дразнит Фому костромским теленком и вихрем перелетает по каменным лестницам гимназии. Но, вот, гремит звонок, перемена кончилась, Виктор опрометью проносится в класс и, тяжело дыша, замирает на своей парте.

«Три часа!»

Он с завистью смотрит на товарищей. Небось, смеются,

еще бы – им-то не сидеть.

Высокие стены класса вдруг суровеют, чернота доски становится слишком резкою, бьющею в глаза... А дома-то, дома!.. Мать с опаской взглянет на стенные часы и сядет у окна поджидать его возвращения, но он...

Входит учитель русского языка. Коренаст, широкоплеч и курчав, хотя, говорят, кудри-то у него не свои, а поддельные, носит парик. Прозвище его – «Собака».

Виктор его урок знает очень плохо, но уже не притворяется, как перед греком, а даже не раскрывает книги. Наплевать! Пусть спросит, все равно.

В душе поселяется злоба. Он выдергивает из ручки перо, отламывает от него половину острия, втыкает перо в парту и – дзинь! – нет-нет, да и дернет за него пальцем. «Собака» кричит, сердится, краснеет, но найти виновного не может. Наконец, забава надоедает, Виктор бросает перо под парту.

Он начинает «думать». Думать очень интересно. «Собака» превращается в настоящую собаку, поджимает хвост, бежит с визгом по коридору, Виктор за ней и ее убивает. Впрочем, нет, убивать не стоит, лучше просто посадить в конуру на цепь. А не то устроить войну? Ну, хорошо. Начинается война; все учителя, кроме историка, идут с длинными копьями и в латах на гимназистов, которыми предводительствует он, Виктор. Ужасная битва! Копья вонзаются, мечи рубят, кости трещат, течет кровь. «За мной, ребята! Не трусь!» – героически выкрикивает Виктор, убивая «Собаку». Но «Соба-

ка» перед смертью успевает ранить своего победителя. Обливаясь кровью, Виктор падает на пол, верный Готлиб выносит его на плечах из пыла сечи.

...Гремит колокольчик, еще один урок кончился. «Собака» забирает журнал и уходит. Ровно через пять минут, после нудной перемены, когда скука и утомление делают голоса школьников тихими, когда тускнеют скучающие глаза и никому не хочется подыматься с парт для забавы, – ровно через пять минут является француз, маленький человечек, бесшумно ступающий, говорящий певучим тенорком и такой незлобивый, что никогда не ставит неудовлетворительных баллов. К его уроку не готовятся.

Придя в класс, француз раскрывает «Приключения Телемака», вызывает кого-нибудь к столу, велит ему читать и переводить. Целый час француз говорит о чем-то вполголоса чтецу, целый час слышно, как усталый чтец лениво бормочет: «я этого слова не знаю!» «мне это место не перевести!» – Не перевести? – удивляется учитель, – но это же очень просто.

В его наружности есть одна особенность: левый глаз желтый, а правый синий, и когда он смотрит в лицо, то кажется словно из его глазниц выглядывают два разных человека.

Виц-мундирчик на французе с иголки, волосы подстрижены аккуратненько, подбородок выбрит, а темные усы закручены, – весь он розовенький, приличный и вкрадчивый, но когда он сидит за столом, класс его как бы не замечает:

гимназисты переходят с места на место, громко беседуют и даже курят, забравшись под парту и не боясь быть уличенными.

Особенно непринужденно держит себя на уроке французского языка Фома – режет ножиком лакированную крышку парты и угрюмо напевает:

Когда окончу я гимназью нашу,
Мошам я нос расквашу.
Тара-ра-рам, тара-ра-рам!
И греку взбучку я задам...

Тягуче, удручающе медленно тянется время. Там и здесь, не стесняясь француза, зевают и потягиваются. Но, вот, в последний раз заливается звонок, все вскакивают, а Костя Долин выходит на середину класса и скороговоркою читает молитву:

«Благодарим Тебе, Создателю, яко сподобил еси нас благодати Твояе, во еже внимати учению. Благослови наших начальников, родителей и учителей и всех ведущих нас к познанию блага, и подаждь нам силу и крепость к продолжению учения сего».

Фома Костромской и Виктор Барский сумрачно смотрят вслед уходящим и убегающим товарищам. Счастливицы! Сейчас они будут дома, пообедают, дочитают интересные книги, будут играть с мальчишками, а тут – сиди. Три часа! Целых три часа.

Наползают сизые сумерки.

Виктор заперт в своем классе, а Фома в соседнем, и кроме них, в гимназии никого нет – пусты коридоры, пустует уборная, темно и безлюдно рекреационное зало. В нем портреты царственных особ более не переглядываются, золото рам потускнело в сумеречной мгле, а черты величавых лиц стерлись, обезобразились.

Виктор сидит за столом, на учительском стуле. Сумерки сгущаются. Страх обхватывает Виктора властными руками. В тишине, в безмолвии всегда людного, всегда наполненного звуками класса совершается незримая работа. Ничего не будет удивительного, если вдруг из темного угла вылезет великан с красными глазами или выскочит огромная жаба – и бросится прямо на Виктора.

Он бледнеет, пугливо озираясь по сторонам.

Страх все властней и властней обхватывает его горло сильными руками.

Виктор чутко прислушивается. Вдруг он вскакивает со стула и с плачем бежит к дверям.

– Циклоп! Циклоп! Отвори же! – барабанит он кулаками в дверь. – Ци-клоп! Отвори же!

Он стучит с такой силой, что кулаки покрываются ссадинами и синяками. По пустующим коридорам широкою вол-

ной проносятся и крик, и стук, и замирают где-то внизу.

В соседнем классе Фома, заслышав стук, срывается с своего места, подбегает к двери и тоже начинает барабанить кулаками.

– Циклоп! – злобно рычит Фома, – Циклоп! Отвори ж!

Он бьет дверь ногами, коленами, ударяется об нее всем телом, чтобы ее выломать, но все безуспешно: Циклоп у себя в камерке, в подвальном этаже, тачает при свете жестяной лампы сапоги и мурлыкает песни, порою взглядывая на часы, чтобы вовремя выпустить пленников.

Фома с бешенством ударяет в дверь и, ослабев, садится на парту. Выбившийся из сил. Виктор тоже возвращается на учительский стул; закрыв глаза ладонями, он плачет. Плечи Виктора вздрагивают, словно он кого-то сбрасывает с них. Плач вырастает в рыдания.

А сумерки все сгущаются, беспросветная тьма вливается в широкие окна.